

П
О
Ч
Т
А
Л
Ъ
О
Н

между

мирами

Mira Vane



RETRO
FILM

Mira Vane

Почтальон между мирами

<https://litres.ru/74567982>

SelfPub; 2026

Аннотация

Матвей Грач — обычный курьер, пока однажды не получает письмо от самого себя. Из будущего, где мир остановился: часы стоят, люди застыли посреди шага, а по городу бродят Пустые — те, кого вычеркнули из чужих книг. Письмо ведёт его через развязки миров, мимо архива Службы и чернильного океана с утопленниками — к столу, за которым рука пишет книгу всех книг. Взяв перо, Матвей узнаёт правду: он не человек, которому доверили счёт, он — рука, которая его вела. И чтобы спасти миры, придётся нарушить все семь правил доставки.

Это история о том, что мир держится не на порядке и перечнях, а на памяти и письмах, которые пишут друг другу живые. О цене строки и цене молчания. И о том, что всё написанное можно переписать — если рядом есть тот, кто держит за руку.

Мистика, тихая фантастика и очень человеческая любовь. Книга для тех, кто когда-нибудь хотел остановить время — и передумал.

Содержание

Роман	4
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Mira Vane

Почтальон между мирами

Роман

Глава 1. Обычная доставка

Мост между ветками не выглядит как мост. Он выглядит как серая полоса, натянутая между двумя темнотами, и идти по ней можно только с одним правилом в голове: не оборачиваться. Матвей Грач шёл уже четвёртый час. Сумка на плече оттягивала плечо, хотя внутри лежал один конверт, тонкий, как высохший лист. В службе пересылки всегда говорили, что письмо весит ровно столько, сколько весит его содержание. Этот конверт весил как чужая жизнь.

Он достал его, не глядя, и сверился с маршруткой. Ветка под номером 11.28. Получатель: женщина, живущая одна, улица с фонарями, которые загораются на минуту позже, чем нужно. Заказ простой: доставить до заката, положить в почтовый ящик с облупившейся краской, не заговаривать, не оборачиваться назад, уйти тем же путём, каким пришёл. Семь правил службы наизусть знает каждый курьер, но первые три касаются именно таких веток, тихих и мокрых, где никто не ждёт гостей.

Дома в этой ветке стояли плотно, вплотную, будто под-

держивали друг друга. Дождь шёл ровный, мелкий, одинаковый во всех окнах этого мира, и Матвей давно заметил закономерность: в ветках, где погода повторяется годами, письма всегда тяжелее. Люди там больше надеются на бумагу. Он вложил конверт в ящик, нажал на облупленную краску, услышал глухой щелчок замка и пошёл обратно, не оборачиваясь, как учили.

На середине моста назад потянуло само собой. Не страхом, а тоской, густой и сладкой, как перед волнующей новостью. Он досчитал до десяти, как учил наставник, старик Крутов, который исчез три года назад во время обычной доставки. Досчитал, шагнул, и мост под ногами на секунду стал мягким, будто соткан из воды. Потом всё прошло. Матвей вышел в опорную точку, отметил в журнале и только тут заметил, что в сумке лежит второй конверт. Он не брал его. Не получал. Не видел, как тот появился.

На конверте не было адреса. Только имя. Его собственное, написанное почерком, который он узнал бы из тысячи, потому что так пишут люди, которых учили писать те же руки, что и его: выводя буквы с нажимом и путая одну и ту же соединительную линию.

Глава 2. Письмо без адреса

Опорная точка службы стояла в безвременье, в том месте между ветками, где не бывает ни дня, ни ночи, а лампы горят всегда, ровно и глухо. Здесь был склад, стеллажи с ячейками, стол дежурного, касса, где вместо денег выдавали дни.

Стены из серого камня, окна без вида, потому что за окнами не было ничего, кроме тумана. Курьеры называли это место Домом и стеснялись этого слова.

Матвей положил оба конверта на стол дежурного. Дежурным был Сиплов, человек с руками старого переплётчика, который за двадцать лет работы научился определять письма на ощупь. Он потрогал первый, взвесил, написал в журнале: доставлено, и двинулся было ко второму, но тут же отдёргнул руку, как от раскалённой ручки.

Такого быть не могло. Почерк отправителя на втором конверте был закрыт, залит густым штемпелем, а на штемпеле стояла ветка с номером, который Сиплов читал трижды. В реестре служб такой ветки не существовало. Ни в бумажных каталогах, ни в живой памяти описей. Она была вычеркнута так давно, что её номер больше не повторялся ни в одном маршруте.

Имя получателя глядело с конверта в упор. Матвей Грач. Ни инициалов, ни улицы, ни строки на обороте. Только имя и дата, проставленная дальше любого срока, какой вообще значился в служебных календарях. По правилам такое письмо следовало вскрыть при дежурном, составить акт и отправить в архив. По правилам. Матвей взял конверт и почувствовал, как под бумагой что-то дрогнуло, будто на дне квартиры дышала вода.

Сиплов проводил его взглядом до самой двери. Матвей знал, что дежурный не скажет никому, что курьер унёс пись-

мо с закрытым отправителем домой. Все курьеры брали такие письма домой. И все они исчезали. Но об этом не писали ни в одной инструкции, и не было известно никому, кроме тех, кого уже не было.

Глава 3. Семь правил

Семь правил службы не менялись ни разу за всю историю пересылки, сколько бы её ни считали. Их выгравировали на входе в Дом, но держали затемнёнными, и читать их полагалось только раз, при приёме на работу. Матвей читал их давно, ещё при Крутове, и тогда они казались перестраховкой, потому что правила всегда кажутся перестраховкой, пока не начинаешь нарушать их.

Первое правило: не вскрывать письмо, если ты не получатель. Второе: не заговаривать с населением ветки, чем бы оно ни притворялось. Третье: не забирать из ветки ничего, даже то, что кажется твоим. Четвёртое: не называть своего настоящего имени. Пятое: не возвращаться в одну ветку по одному и тому же мосту дважды. Шестое: не смотреть на Пустых. Седьмое: не пропускать срок доставки. Каждое правило было чьей-то смертью, которую оформили в строку, чтобы другие могли жить дальше.

Матвей лежал без сна и вспоминал, как Крутов, выйдя на пенсию, говорил странные вещи. Что письма это не просьбы и не вести, а счёт, который кто-то ведёт по всем веткам сразу. Что если в письме, полученном от самого себя, есть дата, то дата эта не назначение, а остаток. Он не понял этих

слов тогда. Сейчас, глядя в потолок опорной квартиры, где он держал жильё, он начал понимать их слишком хорошо.

Конверт лежал на столе ровным белым пятном. Он не светился, не звенел, не шевелился. Он просто был, и этого было достаточно, чтобы комната казалась теснее. Матвей поймал себя на мысли, что уже трижды дотронулся до края, готовый вскрыть, и трижды отдёрнул руку. Первое правило о чужих письмах его не защищало. Он был получателем. Впервые за историю службы курьер оказался получателем письма, отправленного с ветки, которой нет.

К утру он решил, что вскрыет. Не из храбрости. Из простого расчёта, на который переучиваются все курьеры: правила защищают не человека, а сеть, и если сеть решит его списать, правила не вступятся. Он достал нож для разрезания полос, тот самый, с костяной ручкой, отдалённо похожий на нож для вскрытия обычных мешков, и сел к столу, когда за окном туман стал серым на день.

Глава 4. Мир с одним временем

Прежде чем вскрыть, Матвей сделал то, что делает любой опытный курьер, прежде чем нарушить правило: пошёл работать. Доставки не ждали. Заказ пришёл в обычную ветку, семейству с двумя детьми, улица в старом городе, адрес в переулке за часовой башней. Такие письма он носил сотни раз и мог бы доставить с закрытыми глазами. Это оказалось почти правдой.

Часовая башня встретила его застывшими стрелками. Он

сперва решил, что часы сломаны, потом посмотрел на наручные часы у прохожего, на циферблат в булочной, на башенные и на карманные у дворника. Везде было четырнадцать ноль семь. Все стрелки стояли в одном положении, и не было ни ветра, ни тени, которая бы сдвинулась за час наблюдения. Мир не умер. Он просто перестал идти вперёд, и это было несравнимо хуже смерти.

Жители двигались, ели, смеялись, ссорились, но вокруг одного мгновения. Матвей видел, как мальчик гонит мяч, и мяч вечно находится у его ноги, не отлетая. Как женщина собирает воду, и струя всегда падает, но бак всегда полон до одной и той же черты. Он шёл по улице и слышал, как звенит трамвай на одном и том же изгибе рельсов, раз за разом, и каждый раз замирает, и каждый раз продолжает. Население не замечало. Оно никогда не замечало.

Получатель письма, мужчина в пенсне, принимал его у калитки и повторял одну и ту же строчку, глядя Матвею в глаза. Потом наливал чай, и чай всегда был одной температуры, и вопрос всегда был один, и благодарность всегда звучала одинаково, слово в слово, с одной интонацией. Матвей уходил по переулку и чувствовал, как его преследует тишина, у которой отняли будущее.

У выхода из ветки, на последнем фонаре, он заметил свежую надпись на облупленной штукатурке. Тонко, навощённо, детской рукой. Его имя. Под ним дата, и дата была та же, что на белом конверте дома. Он сорвал её взглядом, вышел

на мост и обнаружил, что за спиной в тумане стоят фигуры. Они не приближались. Они просто стояли там, где он был только что, и не имели лиц.

Глава 5. Пустые

Пустые не имели лиц не потому, что кто-то их стёр. Лица у них были, но они совпадали с любым лицом, на которое смотришь, и потому глаз отказывался их удерживать. Курьеры учились видеть их косым зрением, на краю взгляда, где лицо успевает быть чем-то неопределённым, неопознанным, собственным. Матвей смотрел прямо. Правило шестое он нарушил сам, без принуждения, и это решение он потом считал своим первым настоящим шагом к катастрофе.

Их было четверо на мосту. Одетые как прохожие, с сумками, без сумок, в пальто не по погоде. Они не двигались, пока он не посмотрел. Потом ближайшая фигура медленно повернула голову и стала лицом Матвея. Не похожим на него. Идентичным ему, со всеми морщинками, с той же лёгкой асимметрией бровей, с тем же прищуром, который он видел в зеркале всю жизнь. Это зрелище не испугало его мгновенно. Сперва оно показалось бессмысленным, как сноска без текста.

А потом пришло понимание, что оно смотрит на себя снаружи, и что снаружи у него нет того, что внутри, и что Пустые это не монстры, а предупреждения. Они стоят там, где должен был быть кто-то, и их пустота это вычитание. Матвей побежал. Мост не имел ширины, уходить было некуда,

но ноги несли его сами, и туман по бокам сгустился и распадался на клочья, и сзади не было ни шагов, ни дыхания. Только лицо, которое следовало за ним неотступно, как собственная тень в полдень.

Он сошёл с моста в опорную точку с колотящимся сердцем и в первый раз за многие годы сжал в руке билет доставки так, что бумага размокла. Сиплов посмотрел на него поверх журнала, ничего не спросил и просто перевернул страницу. Дежурные видели возвращающихся курьеров с этим выражением лица раньше. Никто из них не делал записей в реестре. Ни один.

Матвей помыл руки в умывальной с холодной водой, глядя, как капли падают с обычной скоростью. Здесь время работало. Здесь оно ещё работало, повторил он себе, как закливание против дурного сна, и достал из внутреннего кармана белый конверт. Пора было вскрыть.

Глава 6. Вета

Вету он встретил в читальне Дома, в зале, где курьеры отдыхали между маршрутами и где всегда пахло бумагой и гвоздикой. Она сидела над стопкой выписок из реестров, подперев подбородок ладонью, и даже не подняла глаз, когда он вошёл. Так она всегда работала. Так она работала и тогда, когда её собственный наставник не вернулся из ветки с закрытым отправителем.

Она собирала список. Не по поручению и не для отчёта, а для себя, по крупницам, из обмолвок, из остатков описей, из

обрывков, которые Сиплов позволял ей переписывать. Список курьеров, получавших письма от самих себя. Вета считала, что их было пятнадцать. Вета считала, что все пятнадцать выбыли, и выбыли по одной схеме: вскрывали, шли туда, куда указывало письмо, и больше не отмечались ни в одном журнале.

Матвей не сказал ей о белом конверте. Он просто сел напротив и спросил про даты. Вета вытащила лист и положила перед ним столбец. Даты выстраивались ровно, с равными промежутками, как стёжка на подкладке. Последняя дата в столбце была дальше всех служебных сроков. Впервые он увидел её не на конверте, а в чужой статистике, и от этого она стала втрое реальнее.

Он смотрел на список пятнадцати имён и знал, что знает некоторые. Из старых мастеров, из ушедших на покой, из тех, кого считали отставниками и легендами. Ни один не умер по документам. Все числились живыми. Просто их не видели на маршрутах, в Доме, на мостах, нигде. Как будто служба стала на пятнадцать человек меньше, и никто не посмел это заметить вслух.

Вета заговорила первой за тот вечер. Она сказала, что если шестнадцатое письмо уже существует, то следующий срок должен быть вычтен из счёта, и она хочет знать, из чьего. Матвей не ответил. Он кивнул, попрощался и вышел в коридор, где лампы горели ровно, и туман за окнами стоял стеной. Он понял, что начинает считать вместе с ней, и это было

самым страшным признанием за всю его карьеру.

Глава 7. Вскрытие

Он вскрыл письмо в тупике между ветками, в том месте, где мосты сходятся и расходятся, и где никто не ходит. Здесь тишина была абсолютной, без эха, без ветра, и это лучшее место для нарушения правил, потому что нарушение здесь никто не услышит. Он разрезал полосу ножом с костяной ручкой и вытянул сложенный вдвое лист. Бумага была тонкой, сероватой, знакомой по служебным бланкам.

Строки начинались без приветствия. Мир уже исчез, писали они. Ты опаздываешь. Счёт: девять. Ни имени отправителя, ни подписи, ни объяснения, какой счёт и откуда он считается. Ни даты, ни срока, ни адреса, ни ветки. Только три предложения и одно число, выведенное наискось, с тем же нажимом и той же путаной соединительной линией, что на конверте.

Матвей перечитал строки трижды и убедился, что они не меняются. Потом он достал блокнот и переписал их, чтобы сравнить. Копия совпадала буква в букву, включая наклон, включая единственный крупный росчерк на слове исчез. Он сунул лист обратно в конверт и почувствовал, как под пальцами что-то сдвинулось. Число изменилось. Счёт показывал восемь.

Он не совершал ничего, что могло бы его уменьшить. Он не доставил ничего, не нарушил никакого нового правила, не пересёк ни одного моста. Число падало само, с каждой

минутой, с каждым его вдохом, с каждым движением серого тумана за краем тупика. Он сообразил, что счёт это не расписание. Это остаток. Остаток чего, он пока не знал, и от этой неизвестности кожа на руках покрылась мурашками, которых он не мог согнать.

Обратно в опорную точку он шёл по другому мосту, соблюдая пятое правило, и заметил, что за спиной туман редет. Не рассеивается. Редет, как становится меньше ткани в изношенном полотне. Там, где он только что стоял, уже не было моста, не было тупика, не было ничего. Пропасть с двух сторон сомкнулась и лизнула край обуви, который стоял на исчезнувшей опоре.

Глава 8. Вырванная страница

Архив Дома находился на нижнем ярусе, куда допускались только старшие курьеры и дежурные. Сиплов сам выдал ему пропуск, не спросив причин, и сам закрыл за ним дверь. Такое молчание дорого стоило, и Матвей знал цену. Дежурные не выдавали пропусков просто так. Они выдавали их тем, кого уже считали потерянными.

Архив пах пылью и старым клеем. Стеллажи уходили в темноту, описи горели тусклыми номерами. Матвей искал по номеру ветки, который прочитал на штемпеле белого конверта. Каталог отвечал отказом. Реестр отвечал отказом. Тогда он пошёл по индексу иронии, по индексу утрат, по индексу остановленных миров. Он не знал, почему ищет именно там. Он просто чувствовал, что штемпель с несуществу-

ющей веткой должен лежать среди несуществующих веток.

Папка нашлась на нижней полке, в самом тёмном углу. Тонкая, серая, без названия, с вытисненным номером. Внутри лежали листы описей о закрытии ветки, о выводе населения, о списании имущества. Много стандартных формуляров. И одна вырванная страница. Корешок был надорван так неровно, что вырвать его мог только человек в панике или в спешке, или тот, кто хотел, чтобы страница исчезла навсегда.

На обороте оставшегося листа, там, где полагалась подпись утверждавшего, стояла закорючка. Матвей вытащил свой блокнот и сравнил. Почерк совпадал. Не был похож. Совпадал, штрих в штрих, до нажима пера, до лёгкой дрожи в верхней петле. Кто-то закрыл несуществующую ветку и подписал закрытие его рукой. Или он сам когда-то подписал закрытие и забыл. Второе было страшнее первого, потому что забывать так основательно умела только служба.

Он вышел из архива с копией листа в кармане и счётом в голове, который показывал семь. В коридоре его ждал Сиплов с непроницаемым лицом и словами, которых Матвей никогда не слышал от него за все годы. Он сказал, что папку нужно вернуть на место, потому что тот, кто вырвал страницу, вернётся за ней. Матвей спросил, откуда дежурный знает. Сиплов ответил, что знает не он. Знает ворон.

Глава 9. Читальный зал

Читальный зал находился за архивом, за тройными дверями, которые открывались только по счёту дней. Матвей знал

о нём только по слухам, пока Сиплов не провёл его туда сам, молча, без объяснений, как провожают в лазарет. В зале стояли стеллажи до потолка. На стеллажах лежали книги. Тысячи книг, миллионы книг, каждая в переплёте из кожи или сукна, каждая с номером на корешке.

Номера совпадали с номерами веток. Каждая книга была веткой. Не копией, не описанием, не архивом. Самой веткой, её историей, её временем, её днями и её людьми. Если открыть такую книгу на случайной странице, можно было увидеть случайный день этого мира, зафиксированный словами, как момент фотографируется светом. Если вырвать страницу, день исчезал. Если сжечь книгу, исчезал весь мир.

Заказы на стирание проходили через этот зал. Заказчик подписывал бланк, дежурный проверял законность, и книга изымалась с полки. Она уходила в нулевую развязку, в ту самую точку между ветками, где сходятся все мосты и где отменяется всё, что когда-либо было написано. Матвей не знал этого раньше. Теперь он держал в руках бланк заказа на стирание ветки одиннадцать сот двадцать восемь. Той самой, где дождь шёл ровно, где часовая башня стояла на четырнадцать ноль семи, где мальчик вечно гнал мяч.

Подпись заказчика на бланке была закрыта тем же штемпелем, что и на белом конверте. Ветка, которой нет. Дата совпадала с датой на конверте. Срок совпадал со счётом в письме, с остатком, который падал сам собой. Матвей понял, что держит в руках приказ на уничтожение собственного мира и

что его мир ещё не уничтожен только потому, что бланк не дошёл до нулевой развязки. Или до неё дошёл другой бланк, тот, который он не видел.

Он сунул бланк во внутренний карман и вышел из зала, не оборачиваясь, потому что за спиной, между стеллажами, стояла тишина, которая дышала. Сиплов ждал его у выхода. Он сказал одно. Он сказал, что ворон уже знает, что бланк изъят.

Глава 10. Ворон

Ворон жил на крыше Дома. Так его все называли, потому что он был похож на ворона и потому что никто не знал его имени, кроме, может быть, Сиплова, который молчал даже с ним. Ворон был стар. Старше любого описи, старше любого правила, старше самого Дома, и это было не преувеличением, а простым наблюдением, потому что Дом строили при нём и вокруг него, подгоняя стены под его крыло.

Он говорил медленно, с паузами, в которых слышалась ирония и усталость. Он знал все семь правил и ещё девять, которых не было ни на одной стене. Он сказал Матвею, что счёт в письме это не остаток времени. Это остаток страниц. Сколько страниц осталось в книге мира, столько и счёт. Когда счёт доходит до нуля, книга закрывается не на последней строке, а на последней букве, и читатель не успевает дочитать даже слово.

Потом он замолчал и посмотрел на Матвея так, как смотрят на экземпляр, который берут в руки впервые. Он ска-

зал, что в счёте не хватает строки. Что письмо, которое пришло из мира, которого нет, не может существовать, потому что письмо это страница, а страница требует книги. Значит, письмо написано не в книге. Значит, оно написано между книгами, в переплёте, в шве, в том месте, куда не доходят законы стирания.

Матвей спросил, кто пишет в шве. Ворон ответил, что тот, кто успел выйти через дверь. Он не пояснил, что за дверь, где она и почему там можно писать. Он просто посмотрел в окно на туман, который к тому часу поредел и стал просвечивать небо, которого не должно было быть. Небо было бледное, бумажное, с просвечивающими линиями разлиновки.

Уходя, Матвей услышал за спиной тихий смешок. Ворон сказал, что у Матвея есть выбор, который не был предусмотрен ни одним из шестнадцати правил. Он сказал, что выбор этот стоит ровно одну страницу, и Матвей должен решить, чью страницу он готов вырвать. Свою или чужую. Матвей не понял. Он вышел на крышу и увидел, что туман под домом больше не туман. Это была пелена, и сквозь неё проступали буквы.

Глава 11. Склад

Тревогу подняли в полночь по счёту опорной точки. Никто не знал, что считать полночью в месте безвременья, но все почувствовали, что что-то началось. Сигнал шёл от входов, от мостов, от тёмных коридоров. Пустые вошли в Дом. Впервые за историю службы они вошли внутрь, где не долж-

ны были находиться, где для них не было ни правила, ни прохода, ни права.

Их было больше, чем на мосту. Их было много, как прохожих на привокзальной площади. Они шли ровно, не спеша, не спотыкаясь, и лица их были лицами дежурных, лицами курьеров, лицами тех, кто ушёл в пятнадцать имён из списка Веты. Они не атаковали. Они занимали. Каждый, кто попадал в поле их взгляда, замирал, и на его лице проступала пустота, и он вставал в строй, и шёл дальше уже без себя.

Матвей бежал по коридорам с бланком стирания в кармане и с белым конвертом в кулаке. За спиной хлопали двери. Впереди, на пересечении галерей, вставляли фигуры с чужими лицами. Он понял, что Дом падает, и что падение это не разрушение, а стирание. Стены не рушились. Стены становились бланками, без окон, без дверей, без коридоров, чистой разливкой на белом.

Вета нашла его у лестницы на нижний ярус. Она держала в руке списки, свои пятнадцать имён, и лицо у неё было решительное и бледное. Она сказала, что счёт дошёл до шести и что Дом станет бумагой к тому, как счёт дойдёт до нуля. Они побежали вместе, вниз, к выходу, к мостам, и за спиной разливалась белизна, как разливается молоко по столу, медленно и неотвратно.

Сиплов не ушёл. Он остался за столом дежурного, переворачивал страницы журнала и делал записи, пока белизна не дошла до его рук. Матвей видел его в последний раз та-

ким: сидящим за столом, пишущим с нажимом, с тем же наклоном пера, с той же дрожью в верхней петле. Записи дежурного велись его почерком.

Глава 12. Мосты горят

Мосты горели. Не огнём, но белизной, которая шла по полотну, как по бумаге ползёт разлив чернил, только чернила были белыми. Матвей и Вета перебегали с моста на мост, выбирая те, что ещё держались, и за спиной у них каждый пройденный путь обрывался в пустоту. Пятое правило было нарушено десятки раз за ночь. Ни одного моста нельзя было пройти дважды, но иного выбора не осталось, потому что выбора не было, потому что выбор тоже исчезал в белизне.

Они шли через ветки. Первая ветка была пуста. Не замирала, не застывала в одном мгновении, как мир с одним временем. Она была пуста в буквальном смысле. Дома стояли, улицы лежали, часы шли, но людей не было. Ни одного. Вета остановилась на перекрёстке и посмотрела на витрину, где лежали модные журналы с лицами на обложках. Лица на обложках не имели черт. Пустые прошли здесь давно и забрали всех.

Вторая ветка сопротивлялась. Там была жизнь, настоящая, с запахами и звуками, с рынком и криками торговцев. Там не знали ни про счёт, ни про бланки, ни про нулевую развязку. Матвей прошёл через толпу, стараясь не встречаться взглядом, соблюдая второе правило из последних сил. Он чувствовал на себе взгляды. Десятки взглядов. Он знал, что

если обернётся, увидит лица без черт.

К третьему мосту счёт дошёл до пяти. Белизна догоняла их по пятам, съедая ветку за веткой, и Вета хрипела от бега, и Матвей тянул её за руку. Он понял, что если остановятся, их не убьют. Их запишут в книгу чистыми страницами. Их лица появятся на лицах Пустых, и они встанут в строй, и пойдут без себя по коридорам Дома, которого уже не будет.

Они сошли с моста в опорную точку, которая была не их, в чужую, тихую, серую, с мигающими лампами и запахом остывшего чая. Здесь работал телефон, старый, дисковый, на столе дежурного. Он зазвонил сам. Матвей снял трубку. В трубке было его собственное дыхание, записанное кем-то заранее, с задержкой в полсекунды, как эхо, которое идёт не за голосом, а перед ним.

Глава 13. Список пятнадцати

В чужой опорной точке было тихо. Здесь не было тревоги, потому что не было никого, кто мог бы поднять тревогу. Вета разложила на столе свои листы, свои пятнадцать имён, и стала сверять их с тем, что осталось от бланка стирания, который Матвей вытащил из Читального зала. Совпадение было полным. Дата на бланке, дата в письме, счёт в письме, номер ветки, всё складывалось в одну линию, как страницы в книгу.

Матвей перечитал письмо ещё раз, уже спокойно, при свете, и заметил то, чего не заметил в тупике. На обороте листа, там, где бланки обычно пусты, был второй текст. Тонкий, на-

несённый сверху, как водяной знак, проступающий только под определённым углом света. Он поднёс лист к лампе и прочитал. Там был список. Те же пятнадцать имён, что у Веты, но в другом порядке, по датам, от самой ранней к самой поздней.

Каждое имя было зачёркнуто одной линией. Две линии стояли наискось, как вычёркивают не небрежно, а окончательно, чтобы никогда не восстановить. Пятнадцать линий. Пятнадцать вычеркнутых курьеров. После последнего имени оставалось чистое место, и это чистое место было подписано его именем, тонко, навощённо, той же детской рукой, что на штукатурке в мире с одним временем.

Матвей понял, что список ведёт сам себя. Понял, что вычёркивание не было написано заранее. Оно происходило по мере того, как курьеры вскрывали письма и шли туда, куда указывала дата. Шестнадцатая строка уже была вписана. Зачёркивания ещё не было. Время зачёркивания совпадало с нулём счёта, и ноль был близок, ближе, чем удобно было думать.

Вета смотрела на список молча. Потом она сказала, что знает, где находится нулевая развязка. Не по описям и не по картам, а потому что её наставник оставил ей записку перед тем, как уйти в последний маршрут. Записка была одна строка, и строка была та же, что в письме Матвея, слово в слово. Мир уже исчез. Ты опаздываешь.

Глава 14. Отправитель

Они шли к нулевой развязке через ветки, которые ещё держались. Счёт шёл вниз. Пять, четыре, и с каждой цифрой мира вокруг редели, как редет лес ближе к опушке, только вместо опушки была белизна. Ветка, через которую они прошли утром, вечером уже не существовала. Путь назад отнимался сам собой, шаг за шагом, и Матвей впервые почувствовал, что значит идти без возврата.

Он думал об отправителе. По всем законам службы письма из несуществующих веток не писались. Значит, писал не мир. Значит, писал тот, кто был вне мира. Тот, кто успел выйти через дверь. Ворон не пояснил, что за дверь, но Матвей собирал намёки, как курьер собирает адреса, по косвенным признакам. Дверь была не местом. Дверь была выбором. Тот, кто однажды выбрал вырвать свою страницу вместо чужой, выходил из книги и оказывался в переплёте, в шве, между историями, где время не идёт и стирание не достаёт.

Значит, писал он сам. Не похожий на него, не двойник, не отражение. Он сам, из мира, который уже исчез, из состояния, в котором счёт дошёл до нуля и книга закрылась на последней букве. Тот, кто вышел, писал тем, кто ещё внутри, и не мог сказать прямо, потому что прямая речь запрещена самим устройством шва. Отсюда водяные знаки. Отсюда списки. Отсюда то, что письмо падало счётом с каждым вдохом получателя.

Вета остановилась на границе очередной ветки и посмот-

рела на Матвея долгим взглядом. Она сказала, что не пойдёт дальше. Она сказала, что её имени нет в списке зачёркнутых и не будет, потому что её мир не будет стёрт, а будет подготовлен. Она не объяснила, что значит подготовлен. Она отдала ему все свои листы, все выписки, все обрывки, сказав, что писем у неё больше нет и что без писем путь ей закрыт, как закрыт для всех, кто не получатель.

Она повернулась и пошла назад по мосту, который ещё держался. Матвей не стал её звать. Он смотрел ей вслед и понимал, что она знает то, чего не знает он. Что подготовленный мир это мир, в котором счёт падает не до нуля. И что она выбрала вернуться в счёт, пока счёт ещё идёт.

Глава 15. Последняя цифра

Счёт дошёл до двух. Ветки гасли вокруг, как гаснут фонари на улице за окном, один за другим, с разницей в минуту. Матвей шёл по последнему мосту, и полотно его было тонким, как бумага, потому что это и была бумага. Сквозь мост просвечивали строки, набранные мелким шрифтом, и он старался не читать их, потому что чтение было расходом. Ворон сказал ему это на крыше, не предупреждением, а просто напутствием. Каждая прочитанная строка тратит страницу.

Нулевая развязка открылась ему без предупреждения. Не врата, не арка, не строение. Место, где сходятся все мосты, и все они обрываются в одну точку, и в точке стоит стол с весами, и на весах лежат перо и книга. Книга была одна, толстая,

в переплёте из серой кожи, и на корешке не было номера. Всё остальное было здесь. Каждая книга каждой ветки сходилась в эту книгу, и каждая страница каждой книги имела своё место в переплёте.

Он положил бланк стирания на стол. Перо зашевелилось само, без руки, и начало писать поверх бланка текст приказа, тот самый, стандартный, из архива. Матвей схватил бланк. Перо сопротивлялось, но он был курьером, и руки у него были крепкие, и он вырвал бланк из-под пера, разорвал надвое, и белизна вокруг дрогнула на миг. На один миг вся окружающая белизна дрогнула и отступила на шаг.

Счёт дошёл до единицы. И на единице он понял последнюю вещь. Понял, почему письмо не могло предупредить прямо. Понял, почему счёт падал с вдохом. Понял, почему список вёл сам себя. Понял, что разрыв бланка не остановил стирание, а лишь перенёс выбор на последний шаг. Он понял, что последняя цифра это не время. Это его собственное имя, оставшееся чистым на пустой строке списка.

За спиной, там, откуда он пришёл, белизна сомкнулась, как вода над головой пловца. Вперёд, за столом, была дверь. Обычная дверь, деревянная, с облупившейся краской, как почтовый ящик в мире с одним временем, и на двери не было ни ручки, ни скобы. Была только надпись, тонко, навощённо, детской рукой.

Глава 16. Порог

Надпись на двери гласила одно. Выйти через дверь. Два

слова, без точки, без даты, без номера ветки. Так писали объявления на дверях закрытых контор, когда контору закрывали навсегда, и вход запирался с той стороны, где уже никого не было. Матвей стоял перед дверью и слушал, как щёлкает счёт. Щелчки шли от его собственного сердца, и он знал, что это не сердце.

Он достал список пятнадцати, свой, вписанный, не зачёркнутый. Пустая строка после последнего имени была чуть светлее остальных, как страница, которую ещё не трогали. Он подумал о Вете, которая вернулась в счёт. Подумал о Сиплове, который писал журналы его почерком. Подумал о Крутове, который говорил про счёт и про остаток. Подумал о мире с одним временем, где мальчик вечно гнал мяч и никогда не касался его ногой.

Ворон сказал, что выбор стоит одну страницу. Матвей поднял перо со стола нулевой развязки. Перо было тёплое, как ладонь живого человека, и это тепло было хуже любого холода. Он поднёс перо к пустой строке в списке. Вписать своё имя означало остаться в книге, и книга закрылась бы на нём, и все миры, которые ещё держались на переплёте, закрылись бы вместе с ней. Вырвать страницу означало выйти через дверь и оставить счёт недописанным, и недописанный счёт, как сказал ворон, это единственное, что держит переплёт.

Он не знал, что выбирает. Он знал только, что выбор был не между своим и чужим. Выбор был между тем, чтобы быть

строкой в книге, и тем, чтобы быть рукой, которая держит книгу. Счёт дошёл до нуля. Щелчок был тихий, как щелчок замка почтового ящика с облупившейся краской, когда в него опускают письмо.

Матвей коснулся скобы на двери.

Глава 17. За дверью

Скоба была холодной, как рельса зимой, и Матвей на секунду испугался, что рука примёрзнет к металлу навсегда и он останется стоять на пороге нулевой развязки, пока счёт не дощелкает до последней цифры. Но скоба отпустила его пальцы сама, вежливо, как отпускает покупателя дверной доводчик в пустом магазине, и дверь пошла внутрь себя.

Не внутрь комнаты. Внутрь себя.

Он смотрел, как створка складывается, как рёбра её деревянной поры расходятся, обнажая слои, а в слоях проступают другие двери, и в тех дверях другие створки, и так до такой мелочи, что глаз переставал различать, где кончается дерево и начинается белое. Потом двери не стало. Стало белое.

Матвей шагнул вперёд, потому что стоять на месте означало ждать, когда Пустые дотянутся сзади, а они уже дотянулись: он слышал, как за спиной хрустит порог, хрустит досками пола, как по пустому залу разносится звук множества босых ступней, идущих в ногу. Он не обернулся. Он знал это чувство по служебным инструкциям, которые читал между строк: курьеру запрещено оборачиваться на развязках, потому что развязка честнее курьера и показывает то, что есть, а

смотреть на то, что есть, не каждый выдержит дважды.

Белое вокруг не было пустотой. Оно шуршало.

Сначала Матвей принял шорох за шум крови в ушах, за усталость, за эффект долгого бега. Потом понял, что шуршит пол. Под его ботинками, на каждый шаг, пол отзывался лёгким сухим шелестом, как отзываются стопки свежей бумаги, если провести по ним ладонью. Он наклонился и провёл рукой по белому.

Под пальцами были строки.

Мелкие, ровные, набранные чем-то средним между типографским шрифтом и почерком, строки шли рядами и уходили вглубь, вглубь, вглубь, и на каждой строке было написано что-то, что он не успевал прочитать, потому что взгляд спотыкался, как спотыкается о ступеньку в темноте. Отдельные слова успевали: «и поле ждало», «она не открыла», «третий трамвай», «мать сказала, что», «и больше никто не пришёл». Он отдёргнул руку. Строка под ней слегка просела, как проседает тесто, и медленно восстановилась, только теперь на том месте, где лежала его ладонь, добавились новые слова. Он прочёл их, не желая того.

«И курьер провёл рукой по полу, и понял».

Матвей выпрямился очень быстро и решил больше не трогать ничего руками. Пол, на котором он шёл, был чьим-то черновиком. Возможно, многими черновиками сразу. Возможно, всеми.

Он пошёл. Впереди белое не кончалось, но меняло плот-

ность: местами строки лежали реже, между ними проступала настоящая гладь, гладкая и тревожная, как лёд над рекой, местами строки лежали так плотно, что белое между ними исчезало, и тогда пол казался страницей, исписанной до отказа, и на такой исписанной плоскости идти было страшнее всего, потому что строка могла принять человека за кляксу и вписать его.

Сзади шорох ступней не отставал. Он не приближался и не отдалялся, он держал дистанцию, как держат её загонщики, которые знают, что добыча всё равно бежит по кругу.

На десятой минуте, если считать по ударам сердца, а других часов в белом не было, Матвей увидел первое отверстие. Оно было похоже на дыру от выпавшего зуба: круглое, с ровными краями, и внутри не чернело, а белело, только белым другим, плотным, жидким. Чернила. Пол вокруг дыры был мягким, как размокший картон, и Матвей понял, что пол здесь когда-то был цел, а потом в нём что-то вычеркнули. Целиком. С абзацем, с абзацами, с главой.

Он обошёл дыру по краю, и край под ним прогнулся. Ботинок уехал вниз по наклонной странице, и Матвей, падая, успел подумать, что теперь узнает, что под бумагой, и это знание его не порадует. Он летел вдоль отвесной страницы, скользя по ней спиной и ладонями, и на скорости читал мимо проплывающие строки, и строки читали его: он чувствовал их внимание, липкое и голодное, как внимание стаи ворон над падалью, которая ещё дышит.

Потом страница кончилась.

Он упал в чернила.

Первое, что удивило Матвея: он не захлебнулся. Чернила приняли его, как вода принимает пловца, только вода в жизни всегда была живой, толкалась течением, дышала волнами, а здесь ничего не дышало. Жидкость была тяжелее воды и держала иначе: она не выталкивала, она обнимала, и объятие было холодным и бережным, как объятие того, кто очень давно никого не обнимал и боится сломать. Он всплыл. Над ним простиралась гладь, гладкая до головокружения, и в ней отражалось белое небо без единого пятна.

Он плыл, потому что плыть было единственным, что он умел в этой ситуации, и руки работали сами, отработанные годы подводных переходов между развязками дали о себе знать. Течение в чернилах существовало, слабое, но существовало, и несло его куда-то, и он позволил нести, потому что сопротивляться чему-то, у чего нет ни стен, ни берегов, глупо.

Через некоторое время он заметил, что гладь вокруг него не пустая. Под поверхностью, в глубине, темнели формы. Большие, медленные, неторопливые, они проплывали под ним на такой глубине, что различить их не хватало глаз, но он понимал по движению воды, что они большие, как дома, и их много. Одна из форм поднялась ближе. Матвей замер.

Сбоку от него из глубины поднялся и медленно повернулся вокруг своей оси предмет, и Матвей узнал его рань-

ше, чем сознание согласилось узнавать. Почтовый рычажок. Медный, потёртый, с вмятиной от падения с третьей ступеньки служебной лестницы, рычажок с ящика номер одиннадцатый, из его первого отделения, где он работал семь лет назад, когда Служба ещё называлась по-старому и он ещё писал на бумажных квитанциях. Рычажок плавал в вертикальном положении, медленно вращаясь, и медь его была черна от чернил, но вмятина осталась.

Вокруг рычажка в глубине проступали другие предметы. Письмовницы. Печати. Пресс-папье. Целые штабеля сумок с плечевыми ремнями, застёгнутыми на пряжки. И фигуры. Матвей сначала принял их за затонувшие балки, потом увидел, что у балок есть плечи, и по плечам в длинных рядах, в сотни рядов, в тысячи, лежали люди. В курьерских куртках. В папах почтальонов старой выучки. В сапогах с разбитыми каблуками. Все смотрели вверх. Все держали в руках письма.

Он не стал смотреть, есть ли среди них его знакомые. Он не стал смотреть, нет ли там его самого. Он поплыл быстрее, и течение помогло, и через некоторое время впереди забрезжил край: чернила кончались, дальше поднимался берег, и берег был не песчаный, а бумажный, слоистый, как спил старого дерева, и на самом краю берега стоял стол.

Обычный стол. Такой, какие стоят в канцеляриях и в приёмных, с зелёным сукном, с чернильницей, с песочницей для промокашки. За столом кто-то сидел. И писал.

Глава 18. Рука

Матвей выбрался на берег тяжело, как выбираются из воды в зимнюю стужу: сначала тело отказывалось, потом разум, потом всё вместе. Он лёг на бумажный берег, и бумага под щекой была тёплой. Это удивило его больше всего за эту ночь: во всём белом мире, среди чернильного океана с утопленниками и рычажками, вот эта страница была тёплой, как подушка, с которой кто-то только что встал.

Он отполз от края воды на пару метров, сел и только тогда посмотрел на стол.

Стол стоял в метрах тридцати, и расстояние это Матвей ощущал кожей, как ощущают близость открытой печи. Между берегом и столом не было ничего, чистое белое поле, но поле это несло в себе давление, как несёт его площадь перед зданием, где принимают важные решения. Воздух был натянут.

За столом сидела фигура в мантии. Мантия была сшита из лоскутов, и Матвей не сразу понял, почему глаз цепляется за неё, а потом понял: лоскуты были миром. Он узнал в одном лоскуте небо над его родным городом, того оттенка, что бывает перед грозой в июле. Другой лоскут был выцветшей обоями из бабушкиной комнаты. Третий дрожал на ветру, и ветра в зале не было. Мантия была сшита из обрезков, из остатков, из того, что оставалось, когда миры стирали.

Лицо Матвей разглядеть не смог, и не потому, что мантия поднималась высоко. Под капюшоном не было лица. Была

гладкая поверхность, белая, ровная, и на ней не было ни глаз, ни рта, ни носа, и именно поэтому Матвей не мог отвести взгляд: отсутствие лица притягивает сильнее, чем любое лицо, потому что лицо без черт всё равно смотрит.

Перед фигурой лежал лист. Над листом висело перо.

Матвей узнал перо сразу. Оно было из тех, что Служба выдавала старшим курьерам на память при уходе на пенсию: длинное, чёрное, с узором на стержне в виде тонкой спирали. Таких перьев в его отделении было три. Одно висело в рамке на стене у диспетчерской. Второе сгнуло вместе с курьером Аверьяном, первым номером из списка, который Матвей нашёл в архиве. А третье было у него в ящике стола, и он много лет думал, что оно декоративное.

Перо писало. Без руки. Оно висело в воздухе, наклонённое к листу, и вело по бумаге строки, и строки ложились одна за другой, ровные, уверенные, и чернила из кончика пера стекали не каплями, а тонкой непрерывной нитью, и нить эта не рвалась.

Матвей смотрел на перо, и перо, закончив строку, поднялось в воздух и повернулось к нему. Не к фигуре за столом. К нему.

Фигура за столом не двигалась. Мантия из лоскутов чуть колыхалась, и в колыхании Матвей различил движение внутри: под мантией было тело, или то, что его заменяет, и это тело медленно, со скрипом, как скрипит несмазанная ось, поднимало руку.

Руку он узнал бы из тысячи.

Это была его рука. Не похожая, а его, настоящая, с шрамом между большим и указательным пальцами, полученным в четырнадцать лет о ржавую банку, с родинкой на запястье, с мозолью от письма у среднего пальца. Только рука была старше его лет на несколько десятилетий, кожа на ней обвисла, вены проступили, у суставов поднялись костяные шишки, и вся она, от кончиков пальцев до плеча, была в тонких белых рубцах. Рубцы шли не хаотично. Они шли строками.

Рука поднялась над листом, легла на перо, и перо на мгновение стихло. Потом рука повела его дальше, и Матвей понял, что перо без руки было пустым звуком, как скрипка без смычка, а теперь смычок вернулся.

Он сделал шаг вперёд. Гравитация на белом поле работала, но мягко, каждый шаг стоил усилия, как шаги по глубокому снегу. На втором шаге сзади, со стороны берега, раздался звук, который он надеялся не услышать.

Вороны на чернильной воде не летают. Они стоят на ней. Ворон, который прилетел к Матвею на нулевой развязку, опустился на гладь в шаге от берега, и чернила под ним не дрогнули. Птица смотрела на Матвея. Потом подняла голову к столу и произнесла. Голос был у ворона скрипучий, старый, и в скрипе этом слышалась глубина, как в скрипе старых ворот слышится век.

Не смотри под мантию, сказал ворон. Хотя скажем честно, ты уже смотришь. Тогда слушай. Ту руку ты видел в журна-

ле дежурного, на развороте за двенадцатым числом, в отметке о передаче смены. Ты подписал ею приём стёртого мира. Ты ещё спрашивал у диспетчера, почему почерк совпадает с твоим, и диспетчер ответил, что это совпадение, а диспетчеры не лгут, потому что им нельзя, а значит, совпадение есть совпадение.

Матвей хотел ответить. Голос пропал. Он стоял на белом поле, мокрый до нитки, с ног до головы в чернилах, которые уже сохли, и сохли они странно: не темнели, а светлели, и на тех местах, где чернила высохли, кожа становилась гладкой, и по гладкой коже шли тонкие белые строки.

Ворон сделал шаг по воде, второй, третий, и Матвей заметил, что под лапами птицы на глади остаются следы, а следы складываются в слова, и слова он не читает, потому что читать их страшно, а ворон между тем говорил дальше.

Рука, сказал ворон, пишет книгу. Не ты писал письма тебе самому, не я, не диспетчер и не Служба. Рука писала. Она пишет всегда. Вопрос не в том, кто держит перо. Вопрос в том, чья это рука. И тут у меня для тебя плохая новость, курьер. Она твоя. Она всегда была твоя. Вопрос только в том, из какого ты года, потому что рук много, как много стрелок на часах в мире, где время остановилось. Каждая строка, которую она выведет, где-то начинается жить. Каждая строка, которую она зачеркнёт, где-то перестаёт. И на той странице, которую она пишет сейчас, она вывела твоё имя и начала его. Она допишет его до конца сегодня, до последней буквы, а

когда допишет, то, что ты есть, кончится. Не умрёшь. Умрут же люди, а ты просто закончишься, как заканчивается книга, у которой дописали финал. Всё, что было до финала, останется в переплёте. Но читать её будет некому.

Матвей медленно повернул голову. Пустые.

Они вышли из белого поля со стороны, откуда он пришёл, и вышли беззвучно, потому что им не на что было ступать: там, где они шли, строк под ногами не было вовсе, и они шли по глади, как по зеркалу, и гладь под ними не рябила. Их было много. Больше, чем на нулевой развязке. Они не спешили. Они знали, что бежать некуда: за спиной у Матвея чернила, впереди рука, и иго и остальные двенадцать пустых лиц смотрели на него без выражения, потому что выражение это место, где у них раньше была работа, а работу отменили.

Один из Пустых поднял руку и показал Матвею ладонь. На ладони, выцарапанные тонко, как царапины от кошачьих когтей, были буквы. Матвей прочёл. «Мы не хотим тебе зла. Мы хотим вернуться в текст. Пустых нельзя вернуть. Но можно начать заново. Помогите нам написать заново».

Ворон издал короткий каркий звук, и по интонации это могло быть что угодно: смех, ругательство, плач. Они лгут, сказал он. Они не хотят вернуться в текст. Они хотят вписаться. Вписаться и переписать. Есть разница между вернуться в дом и выгнать хозяина, и разница эта вся в мебели. Пустые не хотят мебели. Пустые хотят, чтобы в книге осталось только их, а все остальные строки они считают клякса-

ми.

Рука за столом тем временем писала. Матвей слышал скрип пера, и скрип был единственным звуком в белом мире, кроме голоса ворона и его собственного дыхания, и скрип этот разъедал воздух, как капля кислоты разъедает стекло. Перо вело строки, рука вела перо, и между ними, тонкая, как паутина, дрожала нить чернил.

Семнадцатая строка, сказала фигура без лица.

Матвей вздрогнул. Голос не был мужским или женским, старым или молодым. Голос был как страница, как бумага, когда её мнут, и в этом голосе не было ни угрозы, ни жалости. Констатация. Семнадцатая строка сегодня. Пятнадцать курьеров получили по пятнадцати писем. Пятнадцать раз книга рвалась по шву. Пятнадцать миров легли на дно чернильного океана, который ты только что переплыл. Шестнадцатым был ты, курьер Грач, и письмо тебе она писала дольше всех, потому что на свою руку жалко тратить чернила, а тратить приходится.

Кто ты, спросил Матвей. Голос вернулся к нему сильным, чужим.

Я тот, кто ведёт счёт, ответила фигура. До меня это делал ворон, потом ворон сбежал, потом это делал журналы дежурных, потом это делали Пустые, потом это делало эхо. Наконец счёт дошёл до меня. Счёт всегда доходит. Я Развязка номер ноль. Я то, что случается, когда все развязки сходятся в одну точку, и из точки вырастает вопрос. Вопрос мой

простой. Дописать или вырвать.

Ворон медленно повернул голову. Ты сейчас очень плохо выглядящее предложение сделала, сказал он. Вырвать страницу это стереть мир до конца, до черновика, до белого. Дописать это отдать руку. Перо берёт руку. Всегда брало. Пятнадцать курьеров не исчезли, они дописаны. Они сидят на дне океана с письмами в руках и ждут, когда их прочитают. Есть третий вариант, но о нём знали только те, кто уже попробовал, а тех уже нет, а я, кажется, последний, кто помнит. Я не попробовал. Я отложил. Отложил, потому что трус, потому что перо берёт руку, а я любил свои лапы. Ворон посмотрел на свои лапы. Красивые лапы, сказал он. Чёрные. Блестят.

Матвей смотрел на ворона, потом на руку за столом, потом на Пустых, которые за время этого разговора подошли на двадцать шагов ближе, не ускорив шага ни на одно движение. Нить чернил от пера к руке дрожала.

Какой третий вариант, спросил он.

Ворон долго молчал. Потом сказал. Не вписаться и не вырвать. Переписать. Взять перо в свою руку и написать с нуля. Но перо, курьер, не даётся. Оно берёт руку, а не даёт руку. И если рука твоя слабее, чем рука, которая пишет сейчас, перо выпишет тебя из книги по слогам, и ты станешь пустым, а Пустые станут тобой, и им это понравится.

Глава 19. Журнал

Матвей не помнил, как решился. Он помнил только, что

решился не в этот момент и не в этот миг, а когда-то раньше, может быть, в первую ночь, когда ему принесли первое письмо от него самого, может быть, ещё раньше, когда он в четырнадцать лет резал руку о ржавую банку и думал, что шрам мелкий, а шрам оказался не мелким, а важным. Решения в жизни не приходят в момент, когда их ждут. Они приходят заранее и ждут, когда им позволят работать.

Он пошёл к столу. Не бегом. Шагом. Ворон шёл рядом, по чернильной глади, и чернила под его лапами выкладывали следы, и следы складывались в слова, и на этот раз Матвей прочитал их, потому что был слишком занят страхом, чтобы тратить силы на то, чтобы не читать.

«И курьер пошёл к столу, и стол его принял».

Стол принял. Это были не слова. Это было ощущение. Когда Матвей подошёл вплотную к зелёному сукну, сукно под его ладонями дрогнуло, как дрогнет кожа, когда на неё дуют, и по всей поверхности стола пробежала мелкая рябь, как по воде, и на сукне, там, где он коснулся, выступили капли. Не чернил. Пота. Стол потел.

Рука над листом замерла. Перо зависло. Фигура без лица не повернулась, но Матвей почувствовал, что внимание безглазого смотрящего легло на него всем весом, каким падает снег на крышу.

Семнадцатая строка не закончена, сказала фигура. Ты мешаешь.

Я пришёл дописать, сказал Матвей. И голос его, сиплый

минуту назад, вдруг встал на место, и в нём появилась устойчивость, как появляется устойчивость у стрелы, которую уже выпустили.

Фигура молчала. Потом рука поднялась от листа и раскрылась ладонью вверх. Жест был простой, без слов, и Матвей понял его сразу: бери. Перо медленно, плавно, как опускается перо в конце длинного письма, пошло вниз и легло на раскрытую ладонь. И в то же мгновение мир вокруг Матвея качнулся, и он понял, что стоит не на белом поле, а на тонкой кромке, и кромка эта качается, как качается канат, и внизу под ним, под белым, под страницей, чернеет то самое, что под любым черновиком: черновик черновика, темнота без формы, без границ, без края, и темнота эта ждёт.

Он взял перо.

Перо было тёплым. В отличие от всего, к чему он прикасался за последние часы, перо было тёплым, как ладонь живого человека, и тепло это исходило не от птицы и не от металла, а от самого пера, как тепло исходит от тела, в котором бьётся сердце. Он сжал перо в кулаке, и кулак его, свежий, молодой, без единого белого рубца, лёг на страницу, и перо коснулось бумаги.

И начало писать.

Матвей не управлял рукой. Рука управляла им. Перо повело его кисть, и кисть повела локоть, и локоть повёл плечо, и по бумаге пошли строки, и Матвей смотрел на свои собственные буквы, на свой собственный почерк, выведенный

его собственной рукой, но не им, и читал то, что писал.

Он писал о городе. О своём городе. Он писал, что город стоит на реке, и река несёт лёд, и лёд ломается, и подо льдом течёт вода, и в воде отражаются окна, и в окнах горит свет, и за окнами люди, и люди не знают, что они написаны, и никто не сказал им, что они строки, потому что строка не обязана знать, что она строка, строка обязана только продолжаться.

Он писал и чувствовал, как перо выпивает из него что-то. Не силы. Сил оставались. Он чувствовал, как перо выпивает из него время. Каждый выведенный знак стоил ему минуты жизни, может быть, десяти, может быть, года, он не знал курса обмена, а перо курс не показывало. Он писал про свой двор, про ковёр на стене, про лифт, который иногда застревал между этажами, и пассажиры в нём всегда почему-то молчали, и где-то на этой строке в воздухе рядом с ним, на высоте локтя, проявилось маленькое, размером с ключ, отверстие, и через отверстие Матвей увидел свой двор, свой ковёр, свой лифт, и в лифте стоял мальчик, мальчик был он сам, лет десяти, и мальчик смотрел вверх, на кнопку, и ждал.

Матвей вырвал перо из бумаги.

Отверстие закрылось. Мальчик исчез. Рука, его рука, дрожала, и в дрожи этой было что-то, что Матвей раньше не слышал в собственной руке. Жажда.

Не останавливаясь, сказала фигура без лица. Голос её не изменился, но в нём появилась нота, которой раньше не было, и нота эта была похожа на ноту того, кто боится, что гость

встанет и уйдёт. Ты написал двенадцать строк. Двенадцать строк это мало. Двенадцатью строками не кормят мир.

Я не пишу мир, сказал Матвей. Я пишу иллюстрацию к нему. Я пишу то, что видел. Перо берёт не то, что есть. Перо берёт то, что помнишь.

Фигура без лица замерла. В мантии из лоскутов что-то колыхнулось, и лоскут, который был небом перед грозой, смялся, и небо в нём задрожало.

Кто дал тебе право читать перо, спросила фигура.

Никто, ответил Матвей. Перо само. Я читаю не перо. Я читаю счёт. Ты сказала, что ведёшь счёт. Счёт это ты, или счёт это я, потому что до тебя счёт вёл ворон, а до ворона журналы, а до журналов диспетчер, а до диспетчера стрелочник, и я не знаю, кто был до стрелочника, но я знаю, что в любой цепи, где ведут счёт, кто-то однажды сбивается. И если я сбился, то сбился не случайно.

Рука фигуры лежала на сукне, и сукно под ней темнело, и на тёмном проступали тонкие белые рубцы, и рубцы эти шли строками, и строки эти были не о городе и не о лифте. Строки эти были о счёте.

Семнадцатую строку дописала не я, сказала фигура. Семнадцатую строку дописало перо. Перо не различает рук. Перо различает только волю. А воля в тебе, курьер Грач, сильнее, чем воля во мне, потому что во мне воли уже нет, во мне только привычка держать перо. Ты пишешь сильнее. Прости.

И фигура без лица отвела руку от сукна и сложила её на

коленях, и коленей под мантией не было видно, но рука легла так, как ложатся руки на колени, когда заканчивают работать, и сукно под рукой светлело, и рубцы на сукне гасли, и стол под пером становился просто столом.

Ворон на чернильной глади сделал шаг вперёд и оказался у кромки берега. Перо у тебя в руке, сказал он. И рука, которая писала до тебя, сложилась. Значит, счёт перешёл. Считай быстрее, курьер. Они идут.

Глава 20. Вета

Пустые шли по глади, не оставляя следов, и их было уже не двенадцать. Матвей насчитал сорок. Сорок пустых лиц, сорок пустых взглядов, сорок фигур, выписанных из миров, стёртых до черновика, и теперь они шли к нему, к перу, к тому, что их могло снова сделать текстом.

Он сжал перо и отступил на шаг к столу. Стол потел. Сукно на нём было тёмным от пота, и на тёмном проступали тонкие белые рубцы, и рубцы эти ходили по сукну, как ходят тени по стене от пламени свечи.

Впереди, между ним и Пустыми, в воздухе, на высоте груди, раскрылся знакомый Матвею шов. Матвей узнал его сразу: это был тот самый шов, через который он приходил сюда, только с другой стороны он не был белым. С той стороны шов был тёмный. И из темноты, как из воды, выходила Вета.

Она шла спокойно. Куртка на ней была та же, в которой он видел её на нулевой развязке, а волосы растрёпаны, как растрёпаны волосы у тех, кто долго бежал. Но она не бежала.

Она шла, как идут по знакомому коридору, где знают, где выключатель и где ступенька выше уровня.

Матвей хотел закричать, чтобы она остановилась, чтобы не шла к Пустым, чтобы развернулась, но горло не выпустило ни звука. Пустые остановились. Все сорок замерли на месте и повернули пустые лица к Вете, и у Матвея на секунду сложилось странное, неверное чувство, что они её знают. Не узнали. Знают. Как знают собственную подпись на документе.

Вета остановилась в трёх шагах от Матвея и посмотрела на перо в его кулаке. Потом на руку, которая писала до него и которая теперь сложена на коленях у стола. Потом на ворона. Потом снова на перо.

Ты ещё жива, сказал Матвей. И голос его сорвался.

Не спрашивай это вслух, ответила Вета. Спроси себя. Я не жива с того дня, когда мой мир лег на дно. Я фрагмент. Я была вписана в твоё дежурство как условие, чтобы ты дошёл сюда. Меня написали в твою жизнь посторонней рукой, и я это чувствовала всегда, курьер Грач, с самого детства, как чувствуют чужой шов на родной одежде. Меня вписали. Меня вписали, чтобы ты поверил, что спасти кого-то стоит.

Матвей опустил перо. Мышцы в руке отказывались его опускать, перо тянуло кисть к бумаге, как тянет магнит, но он опустил.

Значит, ты не была моей соседкой, сказал он. И это были не вопрос и не упрёк. Это было просто слово, произнесённое

в тишине, слово, которое ему нужно было произнести, чтобы дышать.

Я была твоей соседкой, ответила Вета. Это правда. Просто соседка из мира, который стёрли, и стёрли не сейчас, а давно, а ты в нём жил, и когда его стирали, тебя не спросили. Потому что стирать мир значит стереть и память о мире, а память стереть нельзя, память всегда остаётся, как остаётся свет от звезды, которой уже нет. Я осталась. Я осталась в твоей памяти как соседка, и Служба Пересылки зацепилась за эту память, зацепилась, как крючок цепляется за ржавую банку на дне, и вытащила меня на белый свет. И теперь я здесь. И я не знаю, жива ли я вообще, потому что фрагмент не живёт. Фрагмент помнит, что жил.

Матвей смотрел на неё, и в голове его, плотно, как пакеты в почтовой сумке, укладывались друг на друга события последних дней. Письмо от него самого. Мир с остановленными часами. Список из пятнадцати. Журнал дежурного своим почерком. Развязка номер ноль. Рука за столом. Всё это складывалось в одну фигуру, и фигура эта имела имя, и имя это было не «Вета». Имя это было «условие».

Тебя вписали в моё дежурство, повторил он. Вписали как условие. Кто вписал.

Служба, ответила Вета. Или то, что осталось от Службы. Или то, что Службой прикрывается. Я не знаю, курьер Грач. Я знаю только, что меня вписали, чтобы ты дошёл, а ты дошёл, и теперь я стою здесь и не знаю, жива ли я, и это самое

честное, что я могу тебе сказать.

Пустые медленно, очень медленно, начали сходиться вокруг них, как сходится вода, если встать в неё посередине. Вета их не боялась. Матвей видел это по её плечам и по её дыханию, ровному и глубокому, и это спокойствие напугало его сильнее, чем всё, что он видел за последнюю неделю, потому что спокойствие в присутствии сорока пустых лиц означает одно из двух. Или человек давно смирился. Или человек давно понимает, что Пустые не тронут его, потому что Пустые не трогают фрагменты.

Ты одна из них, сказал Матвей. Не как вопрос. Как констатация, и в голосе его не было ни злости, ни обиды, только пустота, и в этой пустоте было тихо.

Я фрагмент, повторила Вета. Это не то же самое. Пустые это те, кого вычеркнули целиком, с абзацем, с абзацами, с главой. Фрагмент это то, что осталось от главы, когда главу вычеркнули, и в тексте остались слова, которые не к чему больше отнести. Я слово. Я не глава. Я не персонаж. Я слово в чужом тексте, и слово это ты теперь читаешь.

Ворон медленно, тяжело, поднялся в воздух и сел Матвею на плечо. Перо, сказал он. Оно у тебя в руке. И рука, которая писала до тебя, сложилась. Значит, счёт перешёл. Считай быстрее, курьер. Они идут.

И они шли. Пустые со всех сторон сходились, и сходились они не как толпа, не как стая, а как вода сходится к камню, стоящему посередине русла. Матвей поднял перо и попытал-

ся выставить его перед собой, как выставляют щит, и перо в его кулаке дрогнуло, и с кончика пера сорвалась капля чернил, и капля упала на белое поле, и на том месте, где капля упала, из поля выросла трава. Не настоящая трава. Слова. Трава из слов, и слова эти росли, и к ним тянулись корни, и корни эти были из чернил, и чернила в корнях были живыми.

Пустые остановились. Все сорок замерли. Потом один из них, тот самый, что показывал Матвею ладонь с надписью, медленно, очень медленно, опустил на колени. За ним опустил второй. Потом третий. И через несколько секунд все сорок Пустых стояли перед Матвеем на коленях в траве из слов, и трава у них под коленями не ломалась, а изгибалась, и Пустые смотрели на перо в кулаке Матвея так, как смотрят на ту дверь, за которой оставили всё, что у них было.

Ты не пишешь, курьер, сказала фигура без лица за столом. Перо ждёт. И пока перо ждёт, оно берёт. Ты почувствуешь, что оно берёт, когда возьмёт слишком много. Я почувствовала. Спроси у моего сукна.

Матвей опустил взгляд на стол. Сукно под пером, там, где перо висело над ним, было в тонких белых рубцах, и рубцы эти, как понял теперь Матвей, не были рубцами. Это были вычеркнутые строки. Стол был записан. И стол был вычеркнут. И стол помнил, что был текстом, и это было худшее, что Матвей слышал за эту ночь, потому что стол, который был текстом и помнил, что был текстом, а теперь просто стол, это такая жуть, после которой остальное, Пустые, чернильный

океан, утонувшие курьеры с письмами в руках, уже не пугает.

Глава 21. Счёт до последней цифры

Пустые поднялись с колен. Медленно, тяжело, как поднимаются старики, и Матвей понял, что они не встают, а собираются, собирают себя по кускам, как собирают осколки, и в этом сборе не было агрессии, а была нужда, простая, как нужда в хлебе.

Трава из слов под ними разрослась. От неё тянуло свежестью, той особенной свежестью, которой тянет от утреннего поля, и свежесть эта была единственным живым запахом в белом мире, и Пустые дышали ею, и в их дыхании не было звука.

Перо в кулаке Матвея дёрнулось. Кисть повело к бумаге. Он сопротивлялся, и сопротивление это стоило ему больше сил, чем весь бег через белое поле, чем весь переплыв через чернильный океан, и он понимал, что сопротивляться перу долго не сможет, а не сопротивляться не сможет тем более, потому что писал перо не о городе и не о лифте. Перо писало о счёте.

Матвей опустил перо на сукно. Сукно под пером просело, и по сукну, от точки касания, во все стороны пошли тонкие трещины, как идут трещины по льду, и в трещинах зачернело, и в черноте под сукном Матвей увидел то, что видел под белым полем. Черновик черновика. Темноту без формы, без края, без границ.

Не дописывай, сказал ворон. Перо берёт время. Оно возь-

мёт его у тебя столько, сколько ты дашь. Дашь много, останешься пустым. Дашь мало, перо возьмёт у Веты. Вета не живая, ей время не нужно, ей нужно, чтобы её читали, а перо читает всё, к чему прикасается. Ворон повернул голову к Вете. Уходи, сказал он. Быстро.

Вета не двинулась с места.

Я не уйду, сказала она. Я дождалась, курьер Грач, сорок лет дождалась. Я ждала, когда кто-нибудь дойдёт до этой двери, до этого стола, до этого пера, и скажет счёту, что счёт ведут не правильно. Я не уйду.

Пустые были уже в пяти шагах. Впереди, в первом ряду, шёл тот, с ладонью, с надписью. Матвей видел теперь, что надпись на его ладони изменилась. Там, где раньше было «мы хотим вернуться в текст», теперь стояло «мы хотим в текст, который ты напишешь». Разница была невелика. Разница была вся.

Перо дёрнуло кисть Матвея вверх, к бумаге. Он выдохнул, позволил кисти дойти, почувствовал, как перо касается бумаги, как бумага под пером открывается, как открывается под ключом замок, если ключ свой.

И написал.

Он писал о счёте. Перо вело его руку, и рука вела перо, и на бумаге, строка за строкой, пошёл счёт, только счёт этот был не тот, что велела вести фигура за столом. Счёт этот шёл в обратную сторону. От последней цифры к первой. И Матвей писал, и писал, и на шестнадцатой строке этого нового

счёта, на строке, где по всем правилам должно было стоять имя курьера Грача, перо вдруг замедлилось, дрогнуло, и начало писать другое имя. Имя, которое Матвей не узнал. Имя, которое было ему чужим, длинным, в семь слогов, с шипящими на концах.

Он вырвал перо из бумаги. Имя оборвалось на четвёртом слоге. Бумага под оборванным именем потемнела, и в темноте, в глубине, в самом низу, в черновике черновика, что-то зашевелилось.

Что ты написал, спросила фигура без лица. Голос её впервые за весь разговор дрогнул, и в дрожи этой было то, чего Матвей не ожидал. Страх.

Я написал счёт в обратную сторону, ответил Матвей. И на шестнадцатой строке этого счёта перо начало писать имя, которое не моё. И я не стал его дописывать. Я остановил. Потому что в счёте, который ведут в обратную сторону, шестнадцатая строка не имя. Шестнадцатая строка это вопрос. А вопросы нельзя дописывать за других.

Фигура за столом медленно поднялась. Мантия из лоскутов колыхнулась, и лоскут, который был небом перед грозой, развернулся на ветру, которого не было, и в этом лоскуте Матвей увидел город, свой город, и в городе шёл дождь, и под дождём стояла Вета, и она была живая, и она улыбалась.

Фигура без лица заговорила, и голос её был уже не голосом, а шорохом страницы, мнущейся под пальцами.

Ты не понимаешь, что написал. Обратный счёт это не

счёт. Обратный счёт это перепись. Ты переписал всех, кто был вписан до тебя. Пятнадцать курьеров. Вету. Меня. Ворон. Пустых. Ты переписал их, курьер Грач, и теперь они в твоей книге. И книга твоя, потому что перо твоё, а перо берёт руку, а рука теперь твоя, и рука эта пишет, и пока она пишет, они все в твоей книге, и они оттуда не выйдут, пока ты пишешь, и ты пишешь не вечно, ты пишешь пока живёшь, и когда закончишь жить, они выйдут, и когда они выйдут, они будут ходить по твоей книге, как по своим миром, и твоей книги больше не будет.

Матвей не двигался. Перо в его кулаке было тёплым, и тепло его, живое, здоровое тепло, как тепло живого тела, медленно разливалось по его пальцам, по ладони, по руке, по плечу, и в этом тепле было что-то, от чего он не мог отказать. Что-то, что он не мог назвать. Не был домом. Не был лифтом. Не был ковром. Что-то, что было не словом, а словом до слова.

Пустые стояли на коленях в траве из слов. Вета стояла рядом с Матвеем. Ворон сидел у него на плече. И все они смотрели на бумагу перед ним, и на бумаге, ровными строками, шёл обратный счёт, и на шестнадцатой строке, на строке, которую Матвей не дописал, стояло оборванное имя.

Кому оно принадлежит, спросила Вета. Голос её был ровный.

Не знаю, ответил Матвей. Перо писало, я читал. Имя чужое, длинное, в семь слогов, с шипящими на концах.

Ворон медленно повернул голову и посмотрел на оборванное имя. Потом на Матвея. Потом на фигуру за столом. Потом снова на Матвея. И сказал.

Это имя из моей книги, курьер. Это имя, которое я вычеркнул, когда сбежал с поста счётчика. Это имя, которое я писал сам, в самом начале, когда я был не ворон, а человек, и писал не письма, а счёт, и счёт этот вёл не на бумаге, а в голове, и в голове моей счёт был не числом, а именем, и имя это я написал в книгу, и книгу эту я потом вычеркнул, и вычеркнул, потому что имя в ней было длиннее, чем вся книга, и потому что имя это было моим, а моё имя в книге, которая ведёт счёт всем, это уже не счёт. Это уже тюрьма.

Матвей смотрел на ворона. Ворон смотрел на оборванное имя на бумаге, и в глазах его, в чёрных, маленьких, старых глазах, было что-то, чего Матвей раньше не видел у птицы. Тоска.

Ты счётчик, сказал Матвей.

Был, ответил ворон. Теперь счётчик ты.

И тут Пустые, которые всё это время стояли на коленях в траве из слов, медленно, очень медленно, все сорок одновременно, подняли головы и посмотрели на Матвея, и в пустых их лицах, впервые за весь этот вечер, что-то появилось. Не глаза. Не рот. Просто на гладкой белой поверхности, там, где у людей бывает лоб, проступили тонкие белые строки, и строки эти шли одна за другой, и Матвей читал их, и это была не надпись. Это было письмо.

«Мы ждали не пера, курьер Грач. Мы ждали счётчика. Пятнадцать до тебя не дошли. Ты дошёл. Теперь у нас есть счётчик. Теперь у нас есть кто впишет. Впиши нас. Впиши нас, и мы перестанем быть пустыми, и ты перестанешь быть живым, и мы все будем в одной книге, и книга эта будет нашей, и в ней не будет счёта, потому что счёт ведёт только тот, кто снаружи, а снаружи не будет никого».

Перо в кулаке Матвея было тёплым. И оно тянуло его кисть к бумаге. И кисть шла.

Глава 22. Вписанные

Кисть шла к бумаге, и Матвей уже не сопротивлялся. Он понял это в последний момент, между вдохом и выдохом: сопротивляться было бесполезно не потому, что перо сильнее, а потому, что где-то внутри он сам хотел этого. Хотел всей своей усталой, промокшей, прошедшей через чернила клетчатой плотью. Рука, которая пишет, не боится. Рука, которая пишет, наконец знает, что делать, и это знание было слаще любой передышки, слаще сна, слаще тёплой квартиры с ковром на стене.

Перо коснулось бумаги. Строка легла.

Он писал не то, что хотел. Он писал то, что перо находило в нём. А находило перо, как выяснилось, Пустых. Не их имена, у них не было имён, а их форму, их тоску, их сорок пустых лиц, которые теперь стояли перед ним на коленях в траве из слов и ждали, и каждое лицо было как чистый лист, на котором никто никогда не писал, и от этой чистоты перо

стонало, как стонает скрипач, увидев новый, ещё не тронутый смычком инструмент.

Первая строка вышла короткой. «И был человек, и не было у него лица, и он этого не знал». Матвей прочёл её и понял, что перо вписало первого из сорока. Пустой, который стоял ближе всех, у которого на ладони было выцарапано письмо, вдруг выпрямился, и по его гладкому лицу, как вода по сухой земле после долгой засухи, пошли черты. Сначала брови. Потом глаза. Потом рот, усталый, вытертый, с опущенными уголками. Потом всё лицо целиком, серое, скорбное, лицо человека, который прожил жизнь и не помнит её, и человек этот моргнул. Один раз. Второй. И заплакал.

Он плакал молча, и слёзы его были не из воды, а из чернил, тонкие тёмные дорожки шли по серым щекам, и Матвей смотрел на эти дорожки и чувствовал, как перо тянет из него ещё. Время. Оно брало время. Он почувствовал это не сразу, а как чувствуют усталость после долгого перехода: не в момент перехода, а когда он уже позади. Первая строка стояла ему утренней молодости. Вторая, он чувствовал по тяжести в пальцах, стояла дороже.

Он писал вторую строку. «И был человек, и было у него лицо, и лицо это было чужое». Второй Пустой получил лицо соседа Матвея, того самого, из квартиры напротив, который в поздние вечера смотрел телевизор, и звук сквозь стену доходил глухим гулом, и Матвей в детстве засыпал под этот гул, как под шум дождя. Человек с лицом соседа поднялся с

колен, посмотрел на свои руки, сжал и разжал пальцы, потом посмотрел на Матвея, и во взгляде его было то, чего Матвей не ожидал и от чего у него обрушилось что-то внутри. Благодарность. Не иконописная, не книксен с поклоном. Просто благодарность, простая, как хлеб, и Матвей понял, что никому за всю свою жизнь не делал ничего, за что получал бы такую цену.

Третья строка. Четвёртая. Перо писало, и мир вокруг менялся. Трава из слов разрасталась, и в траве расцветали цветы из гласных, и над травой поднимались тонкие стебли с буквами вместо колосков, и воздух, который раньше был белым и беззвучным, наполнился шелестом, шелестом читаемого. Пустые вставляли с колен один за другим, у каждого появлялось лицо, и лица были разные, старые и молодые, мужские и женские, и Матвей понимал, что перо берёт лица не из воздуха. Оно берёт их из него. Из его памяти. Из городов, которые он видел, из людей, которых он встречал, из лиц в трамвае, из лиц в очереди, из лиц на фотографиях в бабушкином альбоме. И каждое вписанное лицо делало его память чуть беднее. Не стирало. Беднее. Как беднеет кошелёк, из которого берут, не спрашивая, по мелкой монете, и мелкая монета не кончается, но дно её становится всё заметнее.

На девятой строке Матвей впервые почувствовал настоящую цену.

Он писал о человеке, которого вписал как возчика с телегой, человека с широкой спиной и седой бородой, он видел

таких в детстве в деревне у деда, и перо вело его руку уверенно, пока не дошло до бороды. И тут он понял, что не помнит бороды. Он помнил, что борода была. Помнил её цвет, седую, с желтизной. Помнил, как она двигалась, когда человек смеялся. Но самой бороды, её формы, её длины, её отдельных волосков не было. Память была как вырезанный кадр. Как страница с выломанным абзацем.

Перо остановилось. Оно никогда не останавливалось раньше. Оно висело над бумагой, дрожа, и ждало, и Матвей понял, что перо не пишет за него. Оно пишет только то, что помнит рука. Если рука не помнит, перо ждёт. И пока перо ждёт, оно берёт не время. Оно берёт что-то другое.

Он не успел понять, что именно, потому что в этот момент первый из вписанных, тот, что с чертами и слезами, пошёл к столу и положил руку на сукно. Рука его прошла сквозь сукно, как проходит сквозь воду, и по сукну пошла рябь, и из ряби поднялся образ. Не слово. Образ. Матвей увидел двор. Свой двор. Ковёр на стене. Лифт, который застревает. И мальчика в лифте, того самого, лет десяти, который смотрит на кнопку и ждёт. Только теперь образ был не окном и не отверстием. Образ был целым, завершённым, и в нём была и борода возчика, и смеющиеся глаза, и двор, и то, чего Матвей не помнил, вернулось, и он понял, что вписанный вернул ему его же память, из себя, из того, что перо вписало, перо берёт и отдаёт, и круг этот замкнулся.

Пиши, сказал вписанный. Голос его был хриплым, как у

человека, который молчал много лет. Мы отдаём. Мы помним то, что ты дал. Ты дал больше, чем забыл.

Матвей писал. Строка за строкой. Десятая. Одиннадцатая. Пустые вставляли, обретали лица, подходили к столу, клали руки на сукно и отдавали, и сукно всё темнело, и по тёмному проступали новые строки, и Матвей вдруг заметил, что стол больше не потеет. Стол дышал. Сукно поднималось и опускалось, медленно, тяжело, как дышит грудь спящего великана, и Матвей понял, что оживил стол, вписал его в свою книгу, и стол теперь был не столом, а тем, кто помнит, что был текстом, и это было уже не жутко. Это было честно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.